

ИГОРЬ МАЛЫШЕВ

ИЗГНАНИЕ БОГОВ ЗИМЫ



Игорь Малышев

Изгнание богов зимы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72534589

Изгнание богов зимы. Рассказы: Литературная матрица; Санкт-

Петербург; 2025

ISBN 978-5-6048670-5-1

Аннотация

Для писателя Игоря Малышева, финалиста литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Русский Букер», рассказ – самая органичная форма. Даже если он пишет роман, в итоге всё равно получается сборник связанных между собой рассказов. В этой книге Малышев реализует себя именно как автор коротких рассказов в чистом виде. Здесь есть истории о детской восторженной влюблённости, о тёмной стороне творчества, о безжалостном ходе времени, о поездках на юго-восток Украины, о работе на АЭС... Но каков бы ни был сюжет рассказа, за каждым событием виден негасимый свет.

Содержание

Вечное лето	5
Русский танец	10
Беспилотник	15
Молния	19
Клоун и луна	24
Река	27
Оборона	32
Огонь	43
Костёр	48
С той стороны стекла	52
Диоскуры	57
Свечение	61
Библиотека	65
Пер-Лашез	70
Солнце высоты	74
Светлячок	79
Время	84
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Игорь Малышев

Изгнание богов зимы

Сборник рассказов

* * *

© И. Малышев, текст, 2025

© РОО «Петербургский альянс содействия культуре»,
2025

© ООО «Литературная матрица», макет, 2024

© А. Веселов, оформление, 2025

* * *

Все огни – огонь.
Х. Кортасар

Вечное лето

Память умеет останавливать время.

Лето. Мне десять. Я, брат и сёстры на пруду. Не только мы тут, ещё половина деревни. Жара стоит страшная. Днём за тридцать пять уже две недели. Земля трескается, как краска на старых стенах. Земля похожа на соты, заполненные чёрным мёдом. Сохнут огороды, сохнет в полях пшеница. Все ждут дождя и каждый день ходят на пруд. Сидят в воде долго, часами. Выходят на берег не для того, чтоб погреться, в этой воде невозможно замёрзнуть, для того, чтобы поесть, позагорать, почитать книжку. Солнце над нами – злой, весёлый, хохочущий бог. Всё под его лучами выглядит горячим. Воздух истекает жаром. Стрелки часов перемешивают горячий бульон дня.

Мы братья-сёстры, мы дети, мы играем в мяч. Наш визг разбивается о берега и пропадает в зарослях прибрежных трав – лебеды, крапивы, тимофеевки. От наших криков травы выстреливают в воздух крохотными облачками пыльцы.

У дна шныряют пескари и, если встать неподвижно, начинают искать что-то меж пальцев ног, увязших в иле.

Подкапываются под пятки, щекочут, но попробуй поймай. Не удастся.

Пескарь – красивая рыбка. Похожа на маленького осетра. Я бью мяч. Он взлетает в воздух, и моя память останавли-

вает его там. Она может держать его там сколь угодно долго. Вечность.

Я вхожу в эти зелёные воды пруда под солнечные, горячие, как банный пар, лучи. Иду меж детьми, застывшими в игре и с раскрасневшимися лицами взирающими на мяч.

Кто это? Неужели я? Да, наверное. Какой я был мелкий в десять лет. Но уже начал толстеть. Лет в семь-восемь был скелет скелетом, а тут смотри-ка...

Сестра Иринка. Почти ровесница. Уже начала оформляться фигура. Как и все, смотрит на мяч в небе. Это её мяч.

Вторая сестра, Оксанка. Совсем малявка. На ней и трусы-то сидят перекошенно. Тонкокостная, улыбчивая.

Колька, брат. Родился как-то неправильно, врачи во время родов вывихнули ногу. Так и проходил, хромая, до самого конца. Потому и тут стоит немного набок. Улыбается. У него вообще была одна из самых сложносочинённых улыбок, что я видел. Смотрит на мяч. Умер, чуть не дожив до миллениума. Работал в прокуратуре. Отправили шерстить Ростовское МВД. День и ночь жили под охраной. И так два года. Помните на то, что это девяностые и это Ростов. Врачи после вскрытия говорили, что он умер с сердцем восьмидесятилетнего старика. Но Колька всегда был впечатлительным. Мы оба были запойными читателями. Я стал писателем, его сгубило впечатлительное сердце.

Серёга. Крепыш. Мой ровесник, но мускулов раза в два больше. Деревенский. У него в жизни было два варианта –

спиться или сесть. Урвал оба. Его сбила машина, когда он ехал пьяный на мотоцикле. Он тогда уже находился под следствием. Жёсткий был, интересный.

Виталик. Самый мелкий из всех здесь присутствующих, при том, что не самый младший. Быстро бегал. Очень быстро. Когда я увидел его, вернувшегося из армии, руки его были исполосованы поперечными шрамами. А тут он смеётся.

Солнце горит в вышине. Солнце поёт, хлопает себя по пьяному пузатому животу, пьёт жаркое вино.

Мяч падает в воду, и мы с визгом и криками бросаемся на него. Кто-то хватает мяч и, выбежав на мелководе, ударом ноги отправляет в небо...

Стой, время.

Вот эта соплюшка, Светка, начнёт лазить с мужиками в одиннадцать, в четырнадцать родит. Впрочем, сейчас она при семье, и всё плюс-минус хорошо.

Этот мальчик сторчится под занавес девяностых.

Этого забьют лопатой. Неизвестно кто. Ночи в деревне тёмные.

Этот побывает три раза в Чечне. Первый раз по призыву. Два – добровольно, по контракту. Жив-здоров до сих пор. И дай ему бог...

Моя племянница Даша. Тут совсем кроха. Сейчас на Кипре и возвращаться не собирается. Наверное, самая близкая мне по духу из всех. За исключением разве что некоторых моментов.

Баба Тоня. Продавщица сельмага. Входит в пруд в чём-то, больше похожем на латы. Защищается от брызг и хохочет.

Иван Кузнец. Он и брызгал на бабу Тоню. Рыбак, гармонист, бедокур. Но, как не стоит деревня без праведника, так не стоит она и без бедокура. После его смерти тут всё и повалилось.

Играет солнце на резиновых боках мяча. Пока время остановилось, можно рассмотреть каждого в деталях. Каждому можно ткнуться в щёку губами, обнять, взъерошить волосы.

Прошедшее принадлежит только тебе.

Я сбегал в сад, что стоит на берегу пруда, нарвал яблок. Кидаю их с обрыва купающимся. Это вкусные яблоки – «осиновый сок», самые вкусные.

Стой, время.

Я хочу ещё раз посмотреть, как будут падать капли на лицо моей сестры Иринки. Как хитро и в то же время беззащитно она будет жмуриться.

Я хочу снова увидеть младенчески бесполое лицо Оксаники.

Я хочу увидеть руки Виталика без поперечных шрамов.

Хочу увидеть брата Кольку просто живым.

Хочу увидеть Светку просто ребёнком.

Стой, время...

И Серёга пусть будет жив. И тот, сторчавшийся, имени которого не помню, пусть тоже будет жив.

Пусть мяч висит в небе, Господи. Неужели Тебе было так

трудно подвесить его там навсегда?

Чтобы мы вечно смотрели на его блестящие, мокрые от прудовой воды бока...

Русский танец

Конечно, я никогда не попала бы в труппу «Гала-Театра», если б не авантюрный склад моего характера. Впрочем, обо всём по порядку.

Да, я ходила на пробы в «Гала-Театр». Не раз. И ни разу не смогла произвести впечатление. Не брали. Я проваливала кастинг за кастингом. И тогда я пошла на хитрость. Авантюра. И в каком-то смысле маленькая подлость.

Долецкий – главный режиссёр «Гала-Театра» – слыл человеком невероятно придирчивым. Перфекционист до кончиков ногтей, к слову, всегда содержавший их в безупречной чистоте и ухоженности, он был к тому же человеком безупречной верности своему слову.

Я знала, что вечером в пятницу после окончания репетиции он в компании директора, или администратора, или, что бывало куда чаще, вместе с примой, неважно в женском или мужском обличье, может выпить чашечку кофе, эспрессо жуткой крепости и потрясающего аромата, сваренного из зёрен, которые ему привозили из Гватемалы, за пределами дорогих и редких. В кафе, уютившемся в пристройке к «Гала-Театру», все знали Долецкого и, как и вся труппа, боготворили его.

Был августовский вечер. Горячо, жарко. Запах кофе и кондитерских забав тёк по площади перед театром. Долец-

кий – в тёмных очках, белой рубашке, две верхние пуговицы расстёгнуты, чёрные подтяжки, чёрные штаны и чёрные же, до блеска начищенные туфли. Напротив – «первые ноги» трупы «Гала-Театра», я уж и не вспомню, мужские ли, женские. Долецкий расслаблен, пьёт эспрессо микроскопическими глотками. Он безупречен, его постановки безупречны, ноги напротив него безупречны.

Он погружён в гармонию августовского вечера, где он, Долецкий, мировая звезда и умница, вершина и средоточие этой гармонии.

И тут появляюсь я. Я одета под стать Долецкому, безупречно, легко и стильно – белый верх, чёрный низ. Ни блузка, ни широкие брюки ни в малейшей степени не стесняют движений. Естественно, никакого нижнего белья. В правом ухе надёжно закреплён беспроводной наушник. В наушнике Чайковский. Я разогрета, тело пластично и готово на всё. Площадь залита, как мёдом, светом августовского заката.

«Русский танец» из «Лебединого озера». Если человеческая цивилизация однажды исчезнет, пусть от неё останется только Чайковский, или даже только его «Лебединое озеро», и можно будет считать, что все эти миллиарды лет жизни на планете не прошли даром.

– Будь я проклят, если завтра это существо не будет служить в моей труппе, – так, мне передали, сказал Долецкий, досмотрев мой танец на наводнённой солнцем площади.

Так я попала в «Гала-Театр». Галактику звёзд Долецко-

го, как расширяли название льстецы, или галоперидол Долецкого, как выражались ненавистники нашего режиссёра.

Потом Долецкий говорил, что у него, вероятно, случился солнечный удар, ничем иным он не мог объяснить свой импульсивный поступок. При ближайшем рассмотрении в стенах театра я оказалась вовсе не так хороша. Но дело тут не в Долецком. Солнечный удар действительно имел место быть, но случился он не с Долецким, а со мной. Живи я в Греции две тысячи лет назад, я, несомненно, стала бы служительницей храма Аполлона, такую власть надо мной имеет солнце. В его лучах, так и хочется сказать, в его руках, я не принадлежу себе, меня ведёт, несёт, возносит некая иная сила, и я лечу, едва касаясь земли, парю в воздухе, отменяя все тяжёлые земные законы. Я пух, я птица, я воздушный змей и облако. Меня не поймать, утеку сквозь пальцы, не остановить, пока я сама не скажу себе: «Стоп!» Точнее, пока солнце не скажет мне: «Стоп!..»

Моя карьера в «Гала-Театре», как и следовало ожидать, не стала ни откровением, ни взлётом. Тень на краю сцены, одна из многих, фигура в кордебалете.

...Я отказалась эвакуироваться. Никто особо и не настаивал. Фигурой в кордебалете больше, фигурой меньше. Театр отправился в тыл, я осталась.

В ещё одном жарком августе артиллерия обрушила крышу «Гала-Театра». Обломки рухнули в зрительный зал, на

тот момент, к счастью, пустой. Из бетонного крошева торчали изломанные кресла и отчего-то прекрасно сохранившаяся роскошная хрустальная люстра.

Несколько дней я ходила в театр, расчищала совершенно не пострадавшую сцену от бетонного и кирпичного месива, мела, будто дворник, пыль. За три дня привела подмостки в идеальное состояние, но мой дебют пришлось отложить – зарядили дожди, и я три дня просидела на поставленном посреди сцены стуле, много курила, однако не забывала и о деле. Точнее, о теле. Разминала его, растягивала, растирала в муку, превращала в податливое тесто, принимавшее по моему желанию любые формы. В память о далёком теперь Долецком пила много кофе. Не гватемальского, редчайшего и изысканнейшего, а самого простого, растворимого.

И вот снова август, снова вечер, жара. Небо горячее, блистающее, солнце слепит и поёт. Я прячу в ухе наушник с Чайковским, выхожу на середину сцены.

«Русский танец» из «Лебединого», сцена «Гала-Театра», солнце. Я больше не я. Я часть солнца, я поток, я тень. Лучи проходят сквозь меня, разделяют, рассыпают моё тело на составляющие, уносят вверх, собирают заново. Меня больше нет, я солнечный ветер, поток света, бесплотные колебания в такт «Русскому танцу», я перо в руках Чайковского, я пёрышко, точка нотки, снабжённая крохотным флажтком. Я – музыка. Я – Лебединое озеро и травинка на его берегу.

«Русский танец» невелик, всего около четырёх минут, но

дай вам бог пережить хотя бы долю того, что пережила я за эти четыре минуты...

Прошёл месяц, не больше, когда в Сети замелькало видео, снятое с чужого беспилотника, который, как оказалось, висел надо мной все эти четыре минуты. Он снял весь танец от начала до конца и улетел, оставшись незамеченным. Умельцы наложили на видеоизображение звуковую дорожку. С произведением угадали.

Мой танец в обрушенном театре получил миллионы просмотров. И вышло, надо сказать, действительно прекрасно. Руины, провал вместо потолка, сияющие осколки хрустальной люстры. Балерина на сцене, по краям которой лежат серые и красные камни. Я хороша. Я просто великолепна. Я двигаюсь, как солнечный луч.

В кадре то и дело мелькает подвешенная к коптеру граната, и это немного мешает просмотру.

Беспилотник

Это называется лесостепь. Ещё это называется Донбасс. Терриконы, степь, перелески. Окопы, долговременные огневые точки, военно-полевой быт.

Они – люди, я – нет. Я беспилотный летательный аппарат, БПЛА, квадрокоптер.

Я ночной охотник. Я оснащён тепловизором и летаю, когда в воздухе только я, совы и летучие мыши.

Я тоже хищник, как совы и летучие мыши. Методы охоты у нас разные, но и только.

Неорганической материи тоже свойственно чувство прекрасного. Я восхищён тем, как летают совы. Сову невозможно услышать. Сова идеальна – ни одного лишнего движения, ни звука, ни следа. Мои четыре моторчика, как ни старались создатели, всё же немного жужжат в полёте, а сова идеальна, её не слышно совсем. Перья её мягки, как пух тополя, и именно поэтому сова не оставляет звукового следа. Не будь я БПЛА, я хотел бы стать совой.

Про летучую мышь говорить не хочу совсем. Мечется в воздухе, будто кусок тряпки, носимый ветром, бестолково, бесформенно. Никакой красоты, никакого сравнения с мягким, элегантным полётом совы.

Я лечу над огромной, тёмной, заляпанной перелесками равниной и смотрю вниз единственным, но зато каким чув-

ствительным глазом.

Лечу...

Вот вижу что-то. Нет, ничего интересного. Просто остывающий подбитый танк. Должно быть, часа три назад этот Т-72 лихо горел, испуская в небо столб чёрного, плотного, похожего на букву «V», дыма, а теперь выгорел, отзвываясь остатками боекомплекта и остывает, как остывает любое тело, убитое на войне.

Надо лететь дальше.

Вижу мелких птиц, прикорнувших на ветках деревьев, крошечные комочки тепла. Дремлют, пережидают ночь.

Мои цели выглядят иначе, совсем иначе.

Надо мной льдистое небо, усыпанное светом. Оно пышет, сверкает. Млечный Путь, будто белое полотенце, на котором несут гроб, пересекает его.

Я БПЛА, оружие, и мне свойственен чёрный юмор.

Я бездушный аппарат в поисках тепла. Кусок пластика, охотящийся за органикой.

Лесостепь притихла под тяжёлыми лапами темноты и войны.

А вот и те, кого я искал.

Люди. Они называются люди. И те, кто отправил меня на охоту за ними, тоже люди. И те и другие ничем не отличаются для тепловизора. Надеюсь, у тех, кто управляет мной, есть способ отличить чужих от своих. У тепловизора, как, наверное, у ангела, таких способов нет.

Они, те, за кем я охочусь, просто лежат и светятся. Лицо и грудь светятся ярче, руки и ноги – темнее.

«Светить всегда, светить везде...»

Вот лежит светлое пятно. Не движется. Не шевелит ни рукой, ни ногой.

Интересно, о чём он думает? Или, может быть, ни о чём не думает, просто спит и видит сны?

Привет, маленький светящийся червячок. Я пришёл, или правильнее будет сказать, прилетел, чтобы сделать что-нибудь с твоим телом. По возможности, что-то необратимое.

Я прицеливаюсь и бросаю гранату на человека, распластавшегося на земле.

Взрыв. Человек дёрнулся, забился, изображение его стало чуть темнее. Потом он совсем исчезнет, спрячется от моего тепловизора. Но это будет не скоро.

Боги войны, когда вы пришлёте за мной смерть, пусть она будет быстрой, с неба и во сне.

Да, боги войны существуют, и я их видел.

Как смешно дёргаются светящиеся человечки, когда происходит взрыв. Как мне нравится суета, что затевают светящиеся существа вокруг этого, тускнеющего. Это оправдывает моё существование. «Убиваю, следовательно, существую».

Я люблю свет. Я нечто, ищущее свет в полной темноте. И горе тому свету, что я найду.

Так светитесь и светите, дорогие люди. Я вверху, я всё ви-

жу, я отпускаю гранату.

Молния

Её голова лежала у меня на плече.

– Не спишь?

– Нет.

В открытую дверь терраски, подпёртую, чтоб не закрывалась, стулом, ворвался сырой воздух, охладил влажную кожу.

С козырька шифера текли разделённые ровными промежутками струи воды.

Сверкнула молния, огромная, ветвистая, будто куст терновника или дельта Волги, озарила терраску, высветив каждую чёрточку на тюли занавесок, каждый кирпич, выкрашенный по местным обычаям извёсткой. Ярко проступили перекрестья рам на окнах, обои на потолке в потёках просачивающегося сквозь старый шифер дождя.

Ты вздрогнула под одеялом, прижалась ко мне, и я всем телом ощутил твою наготу.

Журчали в лужицах струи падающей с крыши воды. Журчали так успокаивающе, что я, наверное, не слышал в жизни ничего более располагающего к покою. За исключением, может быть, мурчания кошки и шёпота засыпающей на твоём плече женщины.

За дверью, еле угадываемая за темнотой и дождём, качала ветками старая берёза, в которую я ребёнком кидал ножи и получил разнос от деревенского приятеля.

«Западлю в берёзку ножи кидать», – процедил он сквозь зубы.

Я запомнил его слова и больше никогда не кидал ножи в деревья.

– Вот ты всё читаешь, читаешь, – произнесла ты. – Расскажи что-нибудь.

Я люблю, когда ты просишь, и рассказываю. Сложно угадать, тебе или себе.

– Если бы ты любила читать, то знала бы...

– Читать скучно, – заметила ты, устраивая поудобнее голову.

– А слушать?

– Слушать интересно.

– Так вот, ты знала бы, что раньше в наших местах было королевство, стоявшее исключительно на реках. На реках местные люди строили города, по рекам ездили торговать и в гости друг к другу. Ловили рыбу, разводили ондатр. Принимали роды в полузатопленных лодках. Мертвецов хоронили с камнями на ногах и были уверены, что те пойдут по дну до самого моря, огромного последнего моря, где собираются все мёртвые со всего мира...

– Врёшь, – сказала ты, и я плечом почувствовал, что ты улыбнулась.

– Ты только представь, как тысячи мертвецов идут по дну к последнему морю.

– Красиво и страшно. – Ты поёжилась, и я снова ощутил

твою наготу.

– Они верили только в реку и мимолётность. Они строили храмы из воды. Храмы существовали только во время церемоний и богослужений. Всё это время служки лили воду, обозначая крышу и стены храма. А когда обряд или служба заканчивались, храм исчезал, как и не было.

– А у нас в деревне храм заброшенным семьдесят лет простоял – и ничего. Сейчас крышу сделали, и он опять как новенький.

Ты моргала, и ресницы щекотали мне кожу.

Я сбился с мысли и замолчал.

– Ну! – Ты чуть толкнула меня округлым бедром. – Давай рассказывай.

– Я хотел рассказать тебе про речную империю, ветвистую, будто молния. Хотел рассказывать долго-долго, пока ты, может быть, даже не уснула бы.

– Здесь?

– Да, прямо тут, у меня на плече.

Я снова почувствовал, как ты улыбнулась.

– М-м, а потом?

– А потом я бы так красиво и мастерски всё завершил, сказав, что всё, о чём я рассказывал, тысячелетия и эпохи, уложились в краткое мгновение вспышки молнии.

Ты молчала.

– Ну, понимаешь, там, в молнии, в этой раскалённой плазме, за то время, пока она существует, возникла целая вселен-

ная, планеты, галактики, чёрные дыры. Возникла жизнь. Люди, королевства, прекрасные истории. Речное королевство, а реки так похожи на молнии...

– Да я поняла.

Ты поцеловала меня в грудь. Медленно вползла на меня, целуя то возле одной, то возле другой ключицы.

– Стой!

Но ты высвободилась, перетекла через меня и выскользнула из-под одеяла.

Встала, глядя в проём двери. Собрала в пучок растрёпанные волосы.

– Муж ждёт, – сказала ты. – Не дай бог узнает – убьёт.

– Правда убьёт? – спросил я.

– Тебя нет. А меня может.

Мысль эта позабавила тебя.

Легко продевая руки и ноги в лифчик и трусы, ты будто бы надевала спецодежду, отделяющую тебя от всего, что сейчас происходило между нами, от запахов, ощущений кожи, от речного королевства, всё существование которого умещается в длительность вспышки.

– Я тебе нравлюсь? – спросила ты.

– Очень.

– Спасибо.

– За что?

– Я не знаю, может быть, я тебе и не нравлюсь вовсе, но ты всё-таки говоришь, что нравлюсь. За это и спасибо. А ведь

встретиться мы с тобой чуть раньше, на пару лет, я могла бы уже родить тебе двух мальчишек. А может, девчонок. Ты бы женился на мне?

Я всё ещё был под гипнозом твоих бесстыже незагорелых территорий и соврал:

– Женился.

Но, скорее всего, не соврал.

Ты набрала в ладонь воды из разделённых волнами шифера струй.

– После любви очень хочется пить, – не глядя в мою сторону, будто стесняясь самой себя, сказала ты.

– Я тебя провожу.

– Нет, – предостерегающе подняла ты мокрую руку. – Нет.

И, смягчив тон, добавила:

– Дождь почти кончился.

Ты, уже совсем одетая, легла мне на грудь.

– Твоя сказка о том, что всё быстротечно?

– В общем, да.

– На следующее лето приедешь?

– Не знаю.

– Вот видишь. – Ты дотронулась кончиком языка до моего носа. – Выходит, всё и вправду быстротечно.

Ты накинула капюшон и вышла под затихающий дождь.

Ты оказалась права, на следующее лето я уже не приехал.

Клоун и луна

Луна во весь иллюминатор.

Я закурил. В каюте, где единственным источником света была луна за бортом, огонёк сигареты смотрелся впечатляюще ярко. Я курил, стряхивал пепел и долго смотрел на луну. Она перемещалась в круге иллюминатора, освобождая место синему, как ночное море, небу.

Я зажёл новую сигарету, потом ещё одну.

Оказалось, я стряхивал пепел ему на волосы, и те начали тлеть. Я не люблю этот запах, а вот Высоцкий, по крайней мере, так он написал в одной анкете, любил «запах выгоревших волос». Именно так: «выгоревших волос». Я попытался вспомнить, откуда помню, как пахнут сгоревшие волосы, не вспомнил. Решил, что, как и все, наверное, когда-нибудь да подпаливал себе волосы на кисти или предплечье. Когда зажигаешь конфорку и тянешь руку поверх уже горячей, такое случается. Наверное, оттуда и знаю.

Какая-то ерунда в голову лезет. И это, в принципе, логично. За ерундой проще прятаться от реальности.

Я взял его за ноги и вытащил по ступеням на палубу. Тум-тум-тум, отсчитала голова каждую из ступеней. Та самая, красивая голова с тлеющими волосами.

У него всегда были отличные волосы и прекрасные парикмахеры. В каждом городе, куда мы приезжали, он первым

делом узнавал адрес самого понтового барбер-шопа и за месяц, что мы проводили в городе, успевал раза два-три туда наведаться. Волосы и борода требуют регулярного ухода, так он говорил. Тем более если ты работаешь в шоу-бизнесе.

Дрессировщица Марта говорила, что полюбила его за бороду, Ирина-фотограф, по её собственным словам, влюбилась в причёску и волосы, что продолжали тлеть сейчас на палубе. За что полюбила его клоунесса Таня, жена клоуна Лёши, я не знаю. Я, клоун Лёша, не знаю, за что моя жена, клоунесса Таня, полюбила нашего директора. За бороду или за волосы, что тлеют сейчас под этой огромной, в полнеба, луной.

Гадкий запах, ненавижу...

Вдали очертания гор и городка у их подножия. Городок переливается огнями, похожими на тлеющие угли костра.

Луна, луна... Искупаться, что ли?

– Последние подарки от клоуна, – говорю я, набивая карманы его рубашки и брюк камнями, будто заботливая мамаша конфетами. – Клоуны неблагодарны, – говорю я. – Видишь, в обмен на тот хлеб, что ты давал мне, я даю тебе камни. Обычную гальку с побережья. Помнишь, ты спрашивал, что в моём шоппере? Я сказал, наживка, крючки, грузила. Ты подумал и сострил, что хорошей наживкой я могу стать и сам, шутки-крючки мне никогда не удавались, и по сути, я всегда был грузилом. Потом засмеялся, зажмурившись от удовольствия, и добавил, что это шутка, но шутка на троеч-

ку, поэтому он всего лишь директор, а я – целый клоун.

Я не улыбнулся, просто кивнул, обозначая, что услышал и шутку, и объяснение.

Школьником я ходил в КЮМ – Клуб Юных Моряков в Мытищах. В Мытищах никогда не было моря, но были юные моряки. Там я научился управляться с парусами, а умению рыбачить меня научила деревня.

Я попытался прикурить очередную сигарету от тлеющей шевелюры – не получилось.

Какая луна! Мне захотелось оказаться сейчас на этой огромной светящейся луне или вообще где угодно, но только не здесь.

Я скинул за борт отяжелевшее от камней тело, и оно, будто огромная рыбина, тут же скрылось под водой.

Открыл в каюте иллюминатор. Ночной ветер вытянет запах сгоревших волос.

Завтра скажу в полиции, что проснулся и не обнаружил на яхте директора нашего цирка. Покажу пустые бутылки. Сделаю предположение, что вчера он по пьяни, а пили мы много, свалился за борт и утонул. Я не услышал его криков, поскольку уснул раньше.

Даже если полиция узнает обо всех, кто был влюблён в его бороду и волосы, включая клоунессу Таню, чем это им поможет?

Какая ночь... Луна во весь иллюминатор.

Река

Я много путешествовал на байдарке по ночной реке. И ночная река, наверное, самое интересное, пусть и немного опасное, место на свете. И дело даже не в том, пьёте вы в пути или нет.

Сразу скажу, трудно не пить, если путешествуешь по реке после заката. Вокруг такая красота, что невозможно удержаться от восторженного крика или... Или от алкоголя.

Плывём (да-да, я знаю, моряки ходят, но мы не моряки и не очень высоко себя ценим). Плывём, тишина. Ничто не колышется, звуков почти нет, разве что журчит река, играя с веткой, что уронила в воду берёза, или фыркают струйки, закручиваясь водоворотами у обрывистого берега. Прокричит, бывает, ночная птица, упадёт в воду ольховая серёжка, и снова тишина. Плывёшь, чуть ворочаешь вёслами, фонарь не включаешь, жаль нарушать ночную гармонию.

И вдруг – баmmm! – прямо перед тобой столб воды, будто кто бросил кирпич. Привыкнув за несколько часов к тишине и неподвижности реки, вздрагиваешь так, что дёргается всем корпусом трёхместная надувная байдарка.

Бобры! Это, что б их, бобры!

Спали, нежась в ночной реке, и, заметив байдарку, теперь ныряют, хлопнув со всей бобровой страстью по глади воды плоским мускулистым, как отбивная, хвостом.

Эффект не в том, что громко, эффект в неожиданности. Как будто живёшь себе, живёшь, спокойно и размеренно, и потом тебя в подворотне пыряют ножом.

Да, грубоватое сравнение. Но извините, просто хотел донести внезапность переживания.

Кстати, мы не боялись ночевать прямо на реке. Бывало, напарник мой засыпал, да и сам я ближе к рассвету чувствовал, что вырубаюсь. Тогда я привязывал лодку к корням деревьев, торчащим из осыпающегося берега, и, следуя примеру соратника, погружался в сон. Спалось очень хорошо, спокойно. Река – лучшая колыбель.

Однажды, сидя на носу байдарки, не на сиденье, а именно на носу, я так увлечённо размахивал руками, что-то рассказывая напарнику, что не рассчитал амплитуды и прямо в одежде упал за борт.

Под водой было очень темно. Я сразу вспомнил, как очень давно, в детстве, тонул. Как погружался на глубину, и вода надо мной становилась всё темнее и темнее.

Но то было дело давнее, с тех пор я научился неплохо плавать. Сохраняя спокойствие, я, не шевелясь, завис в воде, подумал, что ведь именно так, наверное, и тонут люди, потом взмахнул руками и всплыл. Уцепился за борт лодки. Даже не испугался. Дима, напарник, испугался гораздо больше меня. А я был спокоен. Как Ганнибал Лектор, у которого пульс никогда не поднимался выше восьмидесяти ударов в минуту.

Мы вылезли на берег в районе храма села Заречье во Вла-

димирской области. Красивейшие места – сосновый бор, высоченная колокольня, возвышающаяся над деревьями. Там и заночевали.

В этой истории нет ничего страшного или опасного. Иной будет история следующая.

Мы плыли, как обычно, в полной темноте. Чёрные контуры деревьев на тёмно-синем фоне неба, берег, косматая шерсть травы. Лежащие в воде брёвна и сучья скорее угадываешь, нежели видишь. Руководствуешься не обычными органами чувств, не зрением и не слухом, скорее, неким звериным чутьём.

Я не помню, зачем включил фонарь. Наверное, то самое чутьё подсказало. Мы проплывали под мощными ветками склонившейся над рекой ольхи. По плечу Фёдора ползла леска, сплошь унизанная острейшими рыболовными крючками. «Не шевелись!» – крикнул я. Мы благополучно сняли леску с его плеча, но меня до сих пор пробирает ужас, когда представляю, что крючки могли вонзиться Фёдору в лицо.

Рыбак, кто-то из местных, подвесил к ветке ольхи эту снасть. Утром приплыл бы, проверил улов. Нам повезло, что не стали уловом.

С тех пор по ночам стараемся не проплывать под склонившимися над водой деревьями.

Вспомнил эту историю, пришла на память другая. Сплавлялись по реке то ли на первое, то ли на девятое мая. Все берега в машинах, мангалах, рыболовах. И вот сию я на кор-

ме байдарки и чувствую еле ощутимый удар по корпусу. По надувному корпусу малейший удар распространяется очень чутко. Оборачиваюсь и вижу, что по корме медленно, как в фильме ужасов, словно отвратительное насекомое, ползёт блесна с тройником на конце. Криворукий спиннингист забросил с берега подарок. Крючки медленно перемещаются поверх тонкокожих баллонов и не зацепляются! Не зацепляются за ткань! Как? Почему? Не знаю. Маленькое речное чудо.

Да и хватит о грустном.

Самое красивое зрелище на ночной реке – полная луна. Крупная, яркая, настоящее «ночное солнце». Кружится вокруг нас, будто в вальсе. Река непрерывно поворачивает, петляет, вот луна и вальсирует, вальсирует...

А как поют в июне и мае соловьи в прибрежных кустах! Оркестр, симфония, написанная... Кем? А кто пишет соловьям их партии? Только Он.

А запах черёмухи! А цветущие яблони! А иван-чай, багульник! Запахи, запахи, запахи. Сплошной восторг обоняния.

Ночь. Темнота. Всклипы и чмоканье реки. А в остальном, тишина. Столько тишины, что, кажется, больше и быть не может.

А вот посреди реки, она не слишком широкая, тонкие светящиеся столбики рыбацких поплавков. Светятся неземным едко-зелёным светом. На берегу тёмные силуэты рыбаков.

Чёрные, безмолвные, выглядящие в темноте нереально большими. Будто охотящиеся боги. Невольно возникает мысль, не нас ли ловят?

Я огибал поплавки по широкой дуге, не рискуя здороваться с хозяевами.

Светящиеся стерженьки поплавков стояли почти неподвижно, лишь слегка колыхаясь на водах течения.

Я проплывал мимо. Оставались позади безмолвные ловцы и их снасти.

...Оглядываясь, я отчего-то чувствую благодарность и тёмным фигурам, что стояли в высокой траве на высоких берегах реки, и крючкам, ползущим по плечу моего друга Фёдора, и спиннингисту, забросившему блесну на борт байдарки. Без вас эти путешествия были бы куда менее интересными. Без вас мир потерял бы половину красок.

Да не погаснет луна над ночной рекой, да не погаснет свет поплавков.

Оборона

Да, точно, они нырнули в этот подвал, понял я. Высоченная одноподъездная башня. Я успел заметить, как последняя тёмная тень метнулась ко входу в подвал и исчезла. Но сколько их было? Два? Три? Пять?

Патронов у них точно не осталось, иначе обязательно стреляли бы. Но они не стреляли. Самое интересное, что и я был пустой. Или почти пустой. Может, один-два патрона в магазине ещё оставалось, но не больше. С опытом рука такие вещи хорошо чувствует. Из остального оружия – только нож в мультитуле. Но это считай, что ничего, лезвие длиной сантиметров семь, игрушка.

Забежал в подвал. Темень хоть глаз коли. На улице тоже, конечно, не карнавал света – октябрь, тучи, ни луны, ни звёзд, но здесь, будто глаза смолой залили.

Упускать их нельзя. Слышу, недалеко шаги прошуршали и стихли. Похоже, стоят, затаились, выжидают, что я буду делать. А что я могу сделать один? Были бы хоть патроны... А то ни фонаря, ни рации, ни патронов.

Я встал у входа, прижался к стене. Всматриваюсь в темноту, думаю, может, привыкнут глаза, хоть что-то видать будет. Но нет. Закрыв глаза, открыл, снова закрыл. Никакой разницы. Только острее почувствовал, как пахнет кошками и сыростью.

Проклятая любовь к авантюрам. Может, зря я сюда влез?

Ладно, думаю. Темнота, она ведь и мне враг, и им в одинаковой степени. Будь их там хоть двое, хоть пятеро, они от этого зорче меня одного не станут. Вот только не стоит им показывать, что я тут один. Иначе бросятся с разных сторон, массой задавят.

И тут...

– Похоже, убежали, – неожиданно для самого себя сказал я осипшим голосом.

И тут же, заикаясь, произнёс:

– У-у-ушли, ушли...

Пусть думают, что нас двое, решил я.

Проклятая любовь к авантюрам. В какие только переплёт-ты я не попадал из-за неё! Правда, и из каких только переплёт-ов не выбирался. Благодаря ей опять же.

Откашлялся и сплюнул в угол.

– Ладно, давай тут до света пересидим, а там решим, что делать, – сказал осипший.

Я опустил сидушку-поджопник, уселся на пол, поёрзал, скрежетнула бетонная крошка.

Я очень надеялся, что зрители оценят мой спектакль в темноте и не станут слишком уж придираться. Посидим пока, решил я, а там, может, наши подтянутся. Замолчал минут на пять, прежде чем до меня дошло, что, если я так и буду молчать, неприятели решат, что я, точнее, мы уснули, и попробуют напасть. Я заворочался, обозначая, что не сплю.

– У т-тебя с п-патронами как? – спросил заика.

– Есть пока, но мало.

– На, угостись. Я п-полный.

Я дважды громко отщёлкнул и снова присоединил магазин «калаша».

Интересно, сколько же у меня на самом деле патронов? Пересчитывать в темноте, оставшись безоружным, пусть даже на полминуты, совсем не хотелось.

Я посидел минуту в тишине и почувствовал, что уходящий адреналин в самом деле вгоняет в дрему. А мне не то что дремать, мне даже расслабляться нельзя.

– Вчера на неделю вперёд отоспался, – сказал осипший.

– До самого д-д-дембеля?

– Ага, до него.

Из темноты донёсся еле слышный шорох. Счастье моё, что на полу хватало камней и мелкого мусора, и подойти ко мне бесшумно не получилось бы даже у кота.

От этого тишайшего звука по коже побежали мурашки, и я едва не выстрелил в темноту. Хорошо, что не выстрелил. Иначе весь спектакль насмарку. И кто знает, какая бы дальше пошла игра.

Разговор надо было продолжать, а на меня от волнения полное оупение нашло: ничего в голову не лезло.

Мёртвые не тлеют, не горят,

Не болеют, не болят.

Мёртвые не сеют и не жнут,
Не стареют, не живут.

Сипло пропел я первое, что пришло на ум.

– Любишь Летова? – спросил я, забыв заикнуться.

– Любил. Потом как-то отошёл.

Разговаривая, я старался вертеть головой, чтобы неприятель не понял, что звуки идут из одной точки.

– Летов – типичный недоучка, – сказал я сипло. – Прочитал много умных книжек и ничего в них не понял. Фейковая величина.

– Заткнись, а то я кину в тебя чем-нибудь. – Я снова забыл заикаться. – Л-летова не трожь. Летов – г-глыба.

– Фейк твой Летов, – ответил осипший. – Набор цитат и подслушанных мыслей. Пустота.

– Л-летов – гений! И сила его не в словах, а в том, как он умел донести то, что дальше слов.

– И как же он это доносил?

– Великолепно!

– Ну как? Как?

– Так, что начинаешь осознавать вещи, которые «глазами не увидеть, мозгами не понять».

– Да брось ты.

– Я, когда впервые его по-настоящему расслушал, неделю ходил и будто земли не касался.

– Ага, ну как же...

– Нет, я серьёзно. С меня будто кожу содрали и на мороз вытолкнули. «Скользкие вены, кто согреет скользкие вены...»

– Два куплета смешал. «Зоркие окна» и «скользкие тревожные вены».

– Неважно. Я, когда эти слова услышал, каждую свою вену почувствовал, каждую «скользкую вену». Почувствовал, что живой и однажды обязательно умру. Второе даже сильнее почувствовал. Как сказала одна моя знакомая про Летова – «смертяга в нём».

– Ну почувствовал, и что?

– И будто загорелся. «Воробьиная крошечная отчаянная хриплая...» Как там дальше? М-м-м... «Отчаянная стая голосит во мне». Вот и я так же заголосил. Группу создал, играть мы начали.

Я вдруг заметил, что почти не делаю различия между осипшим и зайкой и все фразы произношу почти одинаковым голосом. Увлёкся. Это открытие обескуражило меня, бросило на плечи, шею, лоб ледяную сетку испарины.

Слова увязли у меня в горле, и в тишине я услышал тихие звуки – шорох ног врага.

Я заметался, соображая, что делать. Первой реакцией было рвануть к выходу и бежать что есть сил, но неожиданная мысль остановила меня. Я ощупал карманы, разгрузку. Так, пустые магазины... Мультитул, фляжка... Ножницы, бинт... Но где сигареты? Где, мать их, сигареты? Целая пачка же бы-

ла! А, вот она. Кровь, взлетевшая к вискам и рыбками забившаяся там, отхлынула, оставив лёгкую дрожь в руках.

Я вытащил сигарету, зажигалку, которую держал там же, в пачке.

Прикрывая огонь ладонью, чтобы он осветил как можно меньшее пространство, прикурил.

Шумно выдохнул дым.

– Б-будешь?

– А ты какие куришь? – спросил осипший.

– «Винстон» синий.

– Ну угости.

От своей тлеющей сигареты я прикурил ещё одну и, широко расставив руки, стал, как умел, изображать двух курящих человек. Надеюсь, это убедит «зрителей», что нас тут двое.

– Л-летов – гений, его сила вне слов. А если ты этого не понимаешь, то дебил ты, и не надо тебе Л-летова слушать.

– Никогда не любил «Винстон», – ответил осипший, делая вид, что не услышал «дебила». – А насчёт Летова, я сам решу, слушать мне его или не слушать.

– Да ты небось кроме «У границы ключ...» и не с-слышал ничего.

– Ну конечно... Когда «Сто лет одиночества» на виниле вышел, я к магазину грампластинок на Новом Арбате к открытию приехал. А там уже толпа человек сто.

– Купил?

– Купил. Потом чуть не до дыр заслушал.

Правая и левая мои руки тщательно играли каждая свою роль. Я затягивался то от одной, то от другой сигареты. Курил медленно, стараясь тянуть время этой клоунады. Интересно, как это выглядит со стороны? Шорохов в темноте не было. Мне поверили? Не знаю, как артистам в театре, а для меня эта тишина была лучшей оценкой моей игры.

– «В-в-вечная в-весна в одиночной камере, – пропел заика. – Вечная весна в одиночной камере...»

Из глубин подвала, от бетонных стен тянуло таким могильным холодом и сыростью, что заныли все кости. «Вот сейчас как бросятся, как начнут давить и рвать, – с тоской подумал я о тех, кто прятался в темноте. – Потом уйдут, оставят тут моё бесформенное тело на корм одичалым псам и голодным крысам...» Так стало жаль себя. Я вспомнил о фляжке с коньяком, которую нащупал, пока искал сигареты. Граммов двести – двести пятьдесят. Забычковал одну из тлеющих сигарет и достал фляжку.

– Т-твое здоровье, – сказал я в темноту и сделал глоток.

Холодный коньяк по-доброму ожёг горло, горячей юлой скатился по пищеводу.

– Коньяк? – спросил осипший.

– Коньяк.

– А помнишь? «Маяковский сжал курок, сжёг окурок, влил струю».

– Не, там не так. «Маяковский видел сон, в чистом поле зреет рис...»

– Не занудствуй. Один хрен потом: «самоотвод, самоотвод».

– Точно.

Я глубоко затянулся. Стало не то чтобы спокойнее, но как-то легче и безразлично-весело.

– «С-своего Христа» – это что-то прям п-под кожу.

Раздался сиплый смешок.

– Да ну...

– Что «да ну»?

– Я скажу, ты обидишься.

– Молчи т-тогда.

А если у них всё же есть один-два патрона и они сейчас выстрелят по огонькам, а потом бросятся и задавят? Впрочем, мысль, облегчённая коньяком, не мучила и не жгла.

А те, в темноте, они ведь слышат меня? Наверняка. Я довольно громко говорю. Наверняка кто-то из них тоже «Оборону» слушал. В принципе, мы же на одних песнях воспитаны. Особенно те, кому под пятьдесят. Да и те, что младше, тоже. У них ведь те же «ДДТ», «Алиса», БГ, «АукцЫон» так же часто, как и у нас, выступали. Мы ж одни песни пели, одни фильмы смотрели...

– Я у Летова больше всего советские песни люблю, – сказал осипший. – «Туман», потом ещё целый альбом был...

– «Звездопад».

– Да, точно. Вот это его вершина. Тут он весь.

– Также очень люблю. Но с «Прыг-скок» и «Сто лет оди-

ночества» не сравнится. Эти навсегда. Эти два альбома – его пропуск в бессмертие.

– Ой, вот все эти высокие слова... Меньше пафоса. «Пропуск в бессмертие...»

Осипший хмыкнул.

– Но если это так и есть. Летова вон даже *Massive attack* перепевали. А это классики трип-хопа, не мальчики из ПТУ. Кого ещё из русских перепевали на Западе?

– Достоевского.

– В смысле?

– Ник Кейв в честь него свою группу назвал – *Birthday party*. Он думал, что поминки по Мармеладову в «Преступлении и наказании» – это чей-то день рождения.

Заика расхохотался.

– Ну австралиец, что с него взять?

– Вот-вот.

– Нет, но, в самом деле, почему русская литература – это синоним высшего стандарта во всём мире, русская опера тоже, про балет и говорить нечего, а вот рок-музыка у нас будто и не существует вообще? Для Запада, по крайней мере.

– Да для них всё русское после начала «холодной вой ны» вообще не существует.

От скрытых в темноте участников дискуссии, ради которых она, собственно, и затевалась, не доносилось ни звука.

Я чередовал коньяк и сигареты. Сигареты, коньяк... Коньяк, сигареты...

– ... Летов – это такой ребёнок, прыгающий туда-сюда. За грань и обратно. Оттого и альбом «Прыг-скок».

– Престарелые прыжки. Всё отпрыгано задолго до него.

– Ну, если ты не чувствуешь...

– Да, я не чувствую.

– Это не его, а твоя беда...

...Спор оборвал голос с жёстким кавказским акцентом:

– Всем выйти из подвала! Оружие на землю. Стреляем на любое подозрительное движение! Пошли!

Я вышел, отбросил в сторону автомат, поднял руки.

– Свой, свой, парни. Там, в подвале... Не знаю, сколько их. Всю ночь сторожил, чтоб не ушли.

Ближайший ко мне кавказец быстро обшарил меня, бросил на асфальт.

– Лежи, не дёргайся. Потом с тобой разберёмся.

Вскоре рядом со мной кинули мальчишку лет двадцати. Вжали перекошенное от страха лицо в грязный выщербленный асфальт. Обыскали, приказали не шевелиться и пока оставили.

– Я тоже Летова слушал, – сказал он мне шёпотом. – «Звездопад», «Прыг-скок»... Раз сто, наверное, переслушал. Нас расстреляют?

Он пытливо взглянул мне в глаза. От его лица пахло смертным ужасом.

– Не должны. Я скажу своим, попрошу.

Губы его дрогнули.

– Свои... – с ненавистью процедил он и отвернулся.

Огонь

– Кажется, я опять приболел, – сказал отец, чуть громче, чем обычно.

Сын сдвинул наушники.

– Что?

– Заболел.

– А... Мои поздравления.

Сын надвинул наушники обратно и тут же снял их снова.

– Может, банки поставим? – спросил с интересом.

– Да, наверное, стоило бы, – сказал отец с притворным равнодушием и на всякий случай кашлянул. – В девять?

– Ага, в девять, в зале.

Глядя в телефон, сын ушёл по коридору в свою комнату, и откуда-то из темноты раздался его резкий всхлыв. Очень неприятный хохоток, надо сказать. Отец не любил эти звуки. Так же как компьютер, наушники, всё прочее, что разделяло их с тех пор, как у сына появился свой смартфон.

В девять часов, как договорились, отец ткнулся в дверь к сыну.

– Уже?

– Да, девять.

Сын охотно оставил кресло у огромного компьютерного монитора.

– Пошли.

На диване лежал приготовленный плед, банки, ножницы, вата, пластиковая бутылка со спиртом. Наклейка на бутылке сообщала, что это «Новотерская целебная минеральная вода». В селе Новотерском чеченцы наверняка оценили бы юмор.

Сына не узнать. Внимание, забота, доброжелательность, словно с километровой дистанции разом приблизился вплотную. Поджёг пропитанную спиртом вату, намотанную на стальные клинья ножниц.

Отец лежит одним глазом в подушку, другим следит за сыном. Тот, священнодействуя, окуривает пламенем внутренности банки. Лицо его разгорячено и сосредоточенно-весело.

Хлоп! И первая банка легла на спину. Хлоп! Хлоп! Вторая, третья. Сын трогает каждую, проверяет, как села.

Горит синий огонь на ножницах, пылает румянцем лицо сына.

«Может, сын огнепоклонник? – думает отец. – Ведь есть же люди, рождающиеся сразу христианами, есть прирождённые буддисты. А он, может быть, прирождённый огнепоклонник?»

– Что там по цветам? – спрашивает он сына.

– Вот эта насосалась, уже красная. Эти не очень.

Сын трогает каждую банку, о которой говорит, и отцу эти колебания невероятно приятны.

Отец смотрит на синее пламя. Оно живое, мечется, будто

бабочка, желающая сорваться с блестящих клиньев ножниц и улететь.

Сын заканчивает ставить банки. Отлепляет одну.

– Совсем слабо сидит.

Устанавливает снова.

Огонь на ножницах начинает угасать.

Сын укрывает отца пледом, с заботливостью сиделки подтыкает края.

– Всё, лежи. Через десять минут сниму.

С сожалением задувает гаснущий огонь.

Сын мало общается с отцом. «Привет». – «Привет». «Как дела?» – «Нормально». «Что случилось за день?» – «Скука, ничего интересного».

Отец лежит, укрытый пледом, заботливо подоткнутым его единственным ребёнком, вспоминает комок ваты, объятый синей пеленой пламени, и думает:

«Будь я римским императором, поджёг бы я Рим, если бы это дало мне возможность поговорить с сыном? Чтобы у нас появилось что-то общее, одно на двоих дело?»

Ему кажется, что поджёг бы и стоял рядом, глядя на вос-торг в сынових глазах.

Что Рим?.. Он поджёг бы континент, лишь бы иметь возможность поговорить с сыном, получить что-то объединяющее, связывающее.

– Смотри, как красив пылающий Палатин, – указывал бы он рукой.

– А как горит Целий! Да и Эсквилин с Авентином прекрасны в огне.

– Да, они прекрасны, – соглашался бы отец.

– Хотел бы я увидеть пылающими равнины и горы от Кавказа до Пиренеев, – с восторгом мечтателя произнёс бы сын.

И отец, император, владыка державы, обнимающей стальными руками половину мира, сказал бы:

– И он запыляет, мой сын. Дакия, Галлия, Греция, Италия, Армения... Всё будет пылать!

...Сын возвращается, снимает плед.

– Что там? – спрашивает отец.

– Вот эта, – сын трогает банку, – и вот эта немного насохли, но так, не очень сильно. Остальные совсем бледные.

Сын убирает банки в коробку, они звякают, укладываясь. Снова укрывает его пледом.

– Минут пятнадцать надо полежать.

– Хорошо, – соглашается отец.

Сын собирается идти к себе, к компьютеру и роликам на YouTube.

– Слушай, а ты смог бы поджечь Рим? – спрашивает отец.

– Как Нерон?

У него начитанный сын.

– Как Нерон.

– Нет. Не хватило бы духа.

– А у меня, кажется, хватило бы.

– Пятнадцать минут полежи в покое.

– Хорошо.

Отец кашляет. Без энтузиазма. Просто обозначает, что банки были очень нужны и, похоже, сильно помогли. Сыну будет приятно.

Костёр

Из дальнего далека светит мой деревенский костёр. Мы разжигали его каждый вечер. Мы – шестнадцати-семнадцати-восемнадцатилетние, юные, при всём своём глупом гоноре ничего о жизни не знающие и всё ещё, несмотря на некоторые приключения, довольно невинные.

Я снова у того костра. Подбросил дров, пламя осветило воронку, в которой мы устроили наше логово. Или то был окоп? Роща сплошь усеяна окопами и воронками от разорвавшихся авиабомб. Нет, немцы не дошли сюда. Липецкую область не накрыла оккупация, но в своё время здесь серьёзно готовились к обороне. Неподдалёку от нашей деревни стояла воинская часть, роща была изрыта окопами, ко времени моего детства уже основательно оплывшими, уменьшившимися в глубине, но всё ещё хорошо читаемыми даже в густом подлеске.

Я откинулся на спину, лежу на телогрейке, смотрю вверх. А там, бог ты мой, как же там красиво! Уносятся вверх искры от костра, уносятся ввысь стволы окруживших воронку лип и ясеней. Стволы, как колонны в храме, прямые, вертикально устремлённые к небу. Дальше – хаос листвы. Листва шевелится от поднимающегося вверх горячего воздуха, шепчет что-то на неизвестном, но очень приятном на слух языке. А там, ещё выше, – звёзды. Пока пламя костра яркое, их почти

не видно, но вот дрова прогорают, тьма, таившаяся в кронах и меж стволов, накатывает, заполняет воронку, на небе проступают звёзды, прорываются сквозь ткань листвы, светят, перемигиваются. Вместе с темнотой приходит ночная прохлада, трогает щёки, дышит в лицо.

Я прижимаю тебя к себе.

– Замёрзла?

– Нет.

Угли в костре дышат жаром, играют оттенками красного, жёлтого, белого. Костёр умирает и продолжает играть. Сохранить бы, подобно огню, умение, угасая, играть.

Стволы деревьев – храмовые колонны. Листва – своды, небо – купол. А мы лежим, и нам кажется это единственно правильным поведением в этом храме.

Треск сучка в темноте, ты едва заметно вздрагиваешь. Проходит минута, снова треск. Уже совсем близко. Ты поднимаешь голову, всматриваешься в темноту.

– Ты слышал? – Твой голос почти дрожит.

– Да.

– Кто это?

– Не знаю.

Я притягиваю твою голову к своему плечу, ты не сразу, посопротивлявшись, поддаёшься.

Ты младше меня года на три. Природа щедро одарила тебя. Мне с тобой хорошо.

Снова треск, ты выпрямляешься, опираясь на руку, смот-

ришь в темноту.

– Кто здесь? – спрашиваешь.

Ответа, конечно, нет.

– Ежи, наверное, – говорю я. – Август – ежиное время. Возможно, свет костра их манит, как бабочек.

– Думаешь? – Ты смотришь с недоверием.

– Ну а кто ещё?

– Ежи, – растянуто произносишь ты и ложишься мне на плечо.

У тебя длинные мягкие волосы, мне нравится пропускать их между пальцев. Они льются, как струи воды. Избитое сравнение, но лучше никто не придумал.

У тебя большие улыбчивые губы. Очень мягкие.

– Подбросить дров?

– Как хочешь. Мне и так хорошо.

Пролетел светлячок, как заблудившийся спутник. Хрустнула веточка под ежиной лапкой. Упал сверху обожжённый жаром костра листок. Роща жила ночной, таинственной и прекрасной жизнью. И как же я был рад, что мы на этот короткий промежуток времени стали частью этой жизни.

– Я сейчас усну, – прошептала ты.

– Спи, – сказал я.

– Сплю.

Я потёрся щекой о твой лоб.

– Я разбужу тебя.

Ты положила руку мне на грудь. Двинув ногой, я закинул в

костёр несколько тонких веток. Огонь медленно, словно пробуя дерево на вкус, начал облизывать подношение. Взметнулся над углями, вскинул вверх высоту лесного храма, но вскоре снова опал, растворился, растёкся по углям, впитался, будто дождь в почву.

Воронку затопила темнота. Открылось меж листьев небо, и там понеслись, обгоняя друг друга, падающие звёзды. Перечёркивали тёмное полотно космоса, оставляли мгновенные следы, похожие на след от коньков.

Угасали угли. Всё больше звёзд проступало из тьмы. Всё больше звёзд падало. Персеиды, вспомнил я название августовского метеорного потока.

Подумать только, размышлял я, и всё это великолепие устроено ради нас – меня и неё. Разве может быть такое?

Стволы деревьев уносились ввысь, будто колонны древнего храма, лиственный-звёздный купол укрывал нас, падающие звёзды рассекали небесный простор. И ты лежала на моём плече. Я думал, что впереди у меня будет ещё много всякого, куда более восхитительного и прекрасного. Оказалось, ничто не может затмить ночной костёр в лесу, звездопад, воронку прошлой войны и тебя. Тебя.

С той стороны стекла

Я сидел на терраске, писал. За окном лил дождь. То усиливаясь, то слабея, лил, лил, лил весь вечер. Я выключил свет, намереваясь раздеться и лечь, и тут раздался лёгкий стук в стекло. Всего один удар, мягкий, точный. Я уже по звуку понял, кто там. Некоторые вещи знаешь, не видя.

– Кто там? – всё же спросил.

Загорелся огонёк зажигалки, и я увидел тебя. Ты смотрела с той стороны тёмного стекла, и струи дождя, выверенные шифером, расчерчивали пространство за твоей спиной.

– Это я.

– Заходи.

– Нет, – покачала ты головой.

– Что за ерунда? Заходи.

– Нет.

Ты держала зажжённый «крикет» и качала головой. Тени играли на твоём лице при каждом повороте головы, меняя его до полной неузнаваемости.

– Почему?

– Не хочу.

– Что-то случилось?

– Ничего не случилось. Просто наши отношения...

– Что?

– Это плохо. Так нельзя.

Я приблизил лицо к стеклу.

– Плохо ли, хорошо. Они есть. Заходи, пожалуйста.

– Нет.

– Слушай, я сейчас выйду и затащу тебя сюда.

– Не надо. Я убегу.

Я поднялся и подошёл к двери. Зажигалка погасла, я услышал удаляющиеся быстрые шаги в темноте.

Я вышел под козырёк.

– Хватит, – сказал негромко в темноту. – Что за игры?

Ответа не последовало. Только дождь шумел вокруг. Вздыхал, причмокивал в лужах, шуршал в измокшей траве мириадами капель.

Я вернулся обратно, закрыл дверь. Свет не стал включать. Просто сидел в темноте и ждал. Вскоре услышал звук шагов по мокрой траве. Его ни с чем не спутаешь. Ты стукнула по стеклу. Я поднялся навстречу.

– Я здесь, – негромко сказал я.

Ты зажгла огонёк «крикета».

– Почему ты не заходишь? – спросил я.

Ты покачала головой.

– Не могу.

– Почему?

– Это плохо. Всё, что происходит между нами, – очень плохо.

Твои серые глаза так хорошо смотрелись в свете маленького газового огонька.

Ты тронула мокрое, в каплях стекло, провела сверху вниз пальцем.

– Плохо, – повторила нараспев.

Мне надо было обязательно сказать обычную чушь про влечение, «нам же хорошо друг с другом», «ты мне очень, честно, очень нравишься». Самое интересное, что всё это было правдой и в то же время дикой пошлятиной. Я это чувствовал, чувствовала и она.

– Мой муж – хороший человек, – сказала, почти прошептала ты. – Он не заслуживает такого отношения.

«Да при чём тут муж!» – захотелось сказать мне, но я почувствовал, что из всего парада пошлостей это станет кульминацией.

Пространство, расчерченное струями стекающей с шиферной крыши воды, озарилось молнией. Потом второй, третьей. После них темнота стала особенно густой и чёрной.

Капли стекали по стеклу, изменяя и варьируя твой облик.

Ты подышала на стекло, нарисовала на нём сердечко, улыбнулась, глядя на меня. Потом стёрла рисунок рукавом.

– Я беременна, – сказала ты.

– От меня?

– Муж не притрагивался ко мне уже полгода.

– Импотенция?

Ты стукнула по стеклу так, что едва не разбила его.

– Не твоё дело. У него много работы, он устаёт!

Я закрыл глаза, признавая, что влез на территорию, сту-

пать на которую не имел ни малейшего права.

Ты погасила зажигалку, на окно легла чёрная бумага ночи.

– Это твой ребёнок, – сказала ты.

– Ты хочешь... – начал я.

– Я ничего не хочу от тебя, – быстро оборвала меня ты. –

Я не хочу ничего, что бы нас связывало.

– Стой! Это ведь уже человек! Ты не имеешь права.

Ты стукнула по стеклу всей ладонью. Лицо было злым и сосредоточенным.

– Ты женишься на мне? – спросила ты и тут же выкрикнула: – Я люблю мужа, и в нашей семье не будет чужих детей!

У тебя не было детей. Замужем ты была уже года три, может, пять, а детей у вас не было. Твой муж – неплохой мужик, но человек скучный, будто вечно пересказывающий один и тот же анекдот, который и так все знают.

– Погоди, погоди...

Я и сам разволновался. Впервые в жизни мне говорили, что я стал причиной зарождения новой жизни.

– Так нельзя! – сказал я.

– Нельзя чужих жён трахать, – сказала ты с убийственным пониманием того, как больно делаешь мне.

Ты снова зажгла «крикет», пламя осветило твоё лицо.

– Завтра пятница, придёт автобус. Я поеду в N, там мне сделают аборт.

Ты принялась гасить и снова зажигать огонь зажигалки. Наверное, издали похоже на маяк, подумал я.

Ты ждала от меня какого-то ответа. Не уходила, стояла под дождём, с той стороны стекла.

– Что ты от меня хочешь? – спросил я.

– Ничего.

Ты потушила зажигалку, и я услышал шаги, удаляющиеся по мокрой траве. «Гусиные лапки» – так её зовут, траву.

Диоскуры

Это была моя идея – сделать тату. Или его? Впрочем, неважно. Идея возникла, сделали. Мы близнецы. Родились в один день – первый день лета. Мы не просто близнецы, мы – Близнецы. По знаку зодиака. Вещь вроде глупая донельзя, а с другой стороны, звёзды. Явно выше нас и ближе к... Богу? В Бога мы не очень-то верили. Звёзды и созвездия были ближе, понятнее. Решили наколоть на предплечьях созвездия Близнецов. На внутренней стороне, так чтобы, когда поднимаешь руку и с треском соударяешься с рукой брата, созвездия соединялись, накладываясь одно на другое, будто одно целое.

Я, по-моему, предложил. Или он? Не помню. Но красивая же идея? Красивая. Сделали.

А потом взросление. Самостийность какая-никакая нарисовалась. Сначала никакая. Потом ого-го какая!

На этой почве и рассорились.

Я ему: «Есть же история! Братство, единство!» Он мне: «Да, история есть! Кровь, войны, унижения». Так и поссорились. А тут майдан, Крым, война. Я туда, он сюда. Он книжник, домосед, начитался, посмотрелся в телевизоре, проникся. Я же больше с парнями во дворе. Там другие разговоры. И уж никогда на мове. Ругались дома страшно. Мать не знала, как успокоить. Драться не дрались, но пару раз я думал,

что приложу его. При этом видел, как он на нож на столе поглядывает. Тихий-тихий, а характер у нас обоих не дай бог. Нет, не подрались. Просто в один момент разошлись в разные стороны. Оставили мать одну.

Война. Мы в них стреляем, они в нас.

Он присылает мне фото, как созвездие Близнецов в тризуб перебил. Причём, что самое обидное, и созвездие читается, и тризуб.

Я выбесился, тоже своё тату переделал. Не мудрил, просто попросил надпись «Россия» набить. Но так, чтобы звёзды читались безошибочно.

Бросало меня жёстко. И после «градов» меня, похожего на дуршлаг, сестрички выхаживали, и после «хаймеров». Девкам говорю, что сквозь меня железа прошло, сколько сам вешу.

Брат слал фото, тоже весь в дырочку.

Думаете, не болело сердце? Ещё как болело. Просыпался ночью в кошмарах, снилось, что брата своими руками убил и гляжу в потухающие его глаза. Потом слышу крик, оборачиваюсь, а там мать стоит и на нас, мёртвого и живого, смотрит. И чуть рот себе от горя не рвёт.

В таком поту просыпался, что вонял потом, будто скот после перегона.

Просыпался, кричал, наверное, что-то, потому что бойцы в землянке потом успокаивали меня. Матом, в основном, успокаивали. Но беззлобно, чтоб угомонился.

– Извините, братва, – говорил, а сам всё татуировку на руке ощупывал.

И там, сквозь «Россию», все изначальные звёзды прощупывались. Не знаю, может, их как-то поглубже забили, не понимаю я в этом ничего, но чувствовались они, чувствовались.

Люди баранов, чтобы заснуть, считают. Я всю ночь звёзды созвездия Близнецов пересчитывал. Повторял: Поллукс, Кастор, Альхена, Тейт Постериор, Мебсута. У остальных, как нам сказали, названий не было. И так, пока не засну. А не засну, так просто до утра.

Под обстрелами в лесополках, в тишине ожидания атаки, в отступлении, при пересечении поля, ожидая, что каждую секунду из-под ног может взлететь столб пламени, я думал о брате.

Один из звёздных братьев, не помню уже, Кастор или Поллукс, был бессмертным, но, когда брат умер, пожертвовал бессмертием. И с тех пор оба брата проводили один день в аду, другой – на Олимпе.

Мы умерли под Артёмовском. Или, как сказал бы брат, под Бахмутом.

* * *

В мире существует огромное количество необычных коллекций. Не всегда легальных. Но в коллекционировании

необычных вещей есть необычный кайф.

В одной далёкой стране коллекционер татуировок показывал, не всем, конечно, только самым близким друзьям, в которых был уверен, свою коллекцию. Для этой коллекции в его замке была выделена секретная комната, о которой знали только прямые наследники. И традиция передачи этого секрета шла чуть ли не с двенадцатого века.

С особой гордостью хозяин представлял собственные приобретения. Парные татуировки ценились в подобных сообществах всегда. Но даже и тут случай был совершенно особый. Гостям показывали два лоскута человеческой кожи, на одном из которых был нарисован тризуб, символ некоего государства, на другом надпись на варварском языке. Восхитительным было то, что и там и там проступали звёзды созвездия Близнецов. И настолько чётко, что, приложи их друг к другу, они совпадали до полной тождественности. Хозяин уверял, что перед гостями татуировки близнецов и новая реинкарнация легенды о братьях Диоскурах.

Свечение

Осмотры на реакторе проводились в основном по ночам. Операция, сопровождается определённым повышением фона. Руководство АЭС считало, что ни к чему остальному персоналу станции получать лишнюю, пусть и небольшую, дозу.

Всегда хотелось спать. Я сова, но не настолько, чтобы спокойно работать часов, допустим, с двух ночи до восьми утра. Режим летит к чёрту. Голова постоянно ватная. Что, впрочем, не мешало довольно продуктивно писать. Депривация сна в определённом смысле освобождает сознание.

– Видел свечение Черенкова? – спросил меня напарник по осмотрам.

Женька, бывший десантник, когда-то чудом не угодивший в Чечню, потом выпускник Бауманки.

– Да, видел, – отозвался я, но лишний раз посмотреть не отказался.

При каждом реакторном зале на АЭС есть бассейн, в котором держат сборки, отстоявшие свои несколько лет в активной зоне. Цепная реакция в них всё ещё продолжается. Нейтроны вышибают из атомов новые нейтроны, те – следующие. В этом, собственно и суть цепной реакции. Разве что в бассейне выдержки эта реакция идёт по затухающей, а в реакторе она стабильна и управляема.

Свечение Черенкова. С бассейна сняты стальные плиты, и сквозь дистиллированную воду видны сборки. Они светятся синим, очень глубоким светом, чем-то похожим на свет неоновых ламп, которые увидишь в каждом баре и ночном клубе. Но тот свет легковесен, без глубины и подтекста. Сияние излучения Черенкова тихо дышит чудовищной силой, способной разнести этот мир на молекулы.

Если бы я снимал фильм о русалках, я бы визуализировал их призыв этим сиянием.

Ещё ниже, под реактором, под бассейном выдержки, расположены пространства, куда люди не суются. Туда при необходимости запускают роботов. Я их видел. Очень похожи на «Валли», если вы смотрели одноимённый мультфильм. Гусеницы, камеры, манипуляторы. «Валли». Их дистанционно запускают в те опасные пространства, они там работают. Иногда не возвращаются. Возможно, намертво цепляются за что-то или запутываются в трубах. В общем, не возвращаются.

Я смотрел на этих «валли» и испытывал к ним почти человеческие чувства.

Свечение Черенкова. Счётчик Гейгера в кармане белой спецовки – не могу понять, почему спецовки на АЭС исключительно белого цвета, – потрескивает размеренно, почти уютно. Значит, излучение не очень сильное.

Гладь воды бассейна неподвижна, сияние видно хорошо. Я вспоминаю свою давнюю фантазию.

Однажды меня занесло в глубинные регионы нашей огромной страны. Нас повели в хранилище отработанного топлива, куда свозили отработанные сборки со всей России, да и не только из России.

Это было гигантское сооружение. Представьте себе школьный спортзал. Теперь умножьте его на... дцать и получите примерный размер того сооружения.

Вымощенное стальными плитами, оно прятало в себе тысячи и тысячи топливных сборок, что несколько лет грели и освещали ваши дома.

Для нашего визита несколько плит подняли. Там ровным светом, холодным, ледяным, сияло излучение Черенкова. Вода, которой были укрыты отработавшие своё, «пензионерские» сборки, лежала под нами спокойная, похожая на лёд.

Дальше, за пределами этой открытой воды раскинулись стальные угрюмые пространства хранилища.

Если я сейчас прыгну в бассейн, подумал я, то меня очень долго не смогут найти. Я сброшу одежду и поплыву меж этих рядов чудовищно фонащих сборок в глубину, в даль пространств, укрытых сталью.

Будет холодно, но я слышал, что отработавшие сборки тёплые, некоторые даже горячие, не замёрзну.

Я представил себе масштаб проблем, если я решусь исполнить свою фантазию.

Вот тот кран под потолком будет день и ночь таскать защитные плиты. А я в это время буду плавать – я очень хоро-

шо плаваю – в свечении Черенкова, неоновом, синем, восхитительном. Буду греться у наиболее кровотокающих радиацией сборок, потом снова буду плавать...

А они будут одну за другой поднимать плиты, пытаюсь найти меня в этих гектарах, заполненных технологическими обедками.

Нет, я не нырнул, конечно же, в бассейн. Хоть и до сих пор помню, как манил тот мрак.

Я представил себя таким техногенным Горлумом, скрывающимся во тьме и радиоактивности.

Наверное, это как-то не очень положительно характеризует меня.

Но рано или поздно человек достигает рубежей, после которых человеческие оценки становятся скучны и неинтересны.

«Место, где свет»... Без Яндекса и не вспомню автора выражения.

АЭС – место, где свет.

Библиотека

Передохнуть остановились в заброшенном пансионате «Кооператор». Прекрасное место. Тут бы фантастику снимать.

В здании ни единого целого окна. Три этажа. Рядом недостроенный бассейн. Хотя, может, и не бассейн, слишком сложно смотрелись эти стены, бетонная подложка, торчащие в небо колонны и ржавые пучки арматуры. Нет, всё-таки, наверное, не бассейн, слишком много перегородок, оканчивающихся ничем колонн и хитросплетений арматуры. Наполовину залитый водой, с плавающей по поверхности ряской и беззаботно снующими в мелкой и оттого прогретой воде головастиками. Клубки тины поверх бетонной подложки, торчащие из изумрудной ряски ржавые арматурины... Тут можно было бы снимать продолжение «Сталкера», если бы у «Сталкера» было возможно продолжение.

Идиллия... Развалины, сосны, солнце, покой. Подобные сюжеты любили живописцы девятнадцатого века. Правда, натурой им служили итальянские развалины. Наш век жёстче, и наши развалины строже, угрюмее. Но это не значит, что они менее красивы. В чём-то даже более. Советские развалины мужественнее. А в том, что этим руинам лет тридцать, сомнений не было.

Всё это я успел заметить на бегу. Мы пробежали мимо

«бассейна» и нырнули в остатки «Кооператора», лишённые не только окон, но и дверей.

Выставили часовых. Остальные получили команду отдыхать. На отдых мне хватило получаса и банки тушёнки. Потом я пошёл бродить по «заброшке». Я люблю «заброшки». С самого детства мне нравился запах покинутого человеческого жилья. Тут можно, конечно, сделать заключение о моей склонности к саморазрушению, но я знаю, что, соприкасаясь со следами гибели, я получаю заряд жизнелюбия. Соединяющиеся сосуды жизни и смерти соединены весьма любопытными способами.

В подвале обнаружился зал. Со сценой, остатками занавеса, обвисавшего гнилыми ключьями, амбразурой кинобудки на дальней стене и остатками железных когорт стульев, из тех, у которых сиденья поднимаются вертикально, когда зритель встаёт.

Но главным великолепием этого зала был паркетный пол. Влажность и воды, заливающиеся сюда во время таяния снегов, превратили его некогда ровную поверхность в волнуемое море. Дубовый паркет пошёл волнами высотой в метр-полтора. Пол не нарушил целостности, паркетины остались сцепленными одна с другой. Я бегал с волны на волну, и пол держал меня, как бетонная конструкция. Я подпрыгнул на гребне, волна выдержала, не шелохнувшись.

– Хей! – крикнул я, и эхо заметалось по залу, покатилося кубарем по паркету, теряясь в темноте и неизвестно по ка-

ким физическим законам заставляя качаться остатки занавеса.

Остальные помещения пансионата «Кооператор» оказались не в пример скучнее подземельного концертного зала.

Я блуждал, открывая комнату за комнатой. Остатки раскошейся ДСП-ной мебели, отсутствие окон, тряпки, сухие листья, пыль.

Потом я забрёл в библиотеку.

Вы ходили когда-нибудь по слою книг в метр толщиной? Я ходил.

Я больше читатель, чем боец. Глаза мои загорелись. С самого детства не могу спокойно пройти ни мимо вывески «Библиотека», ни мимо книжного магазина, ни мимо лотка с разложенными на нём книгами. Это были точки притяжения и самой беззаветной любви.

Я замаялся, не решаясь ступить на книги. Моё воспитание не готовило меня к хождению по книгам. Я преодолел тонкий слой культуры в себе и вошёл внутрь библиотеки, в которой всё, прежде стоявшее вертикально, теперь лежало строго в горизонте.

Книги под ногами издавали странный звук. Не скрип, не шорох... Это звук, не имеющий аналогов. Звук книг под ногой.

Я сел, стал брать близлежащие издания.

Очень много нашлось из серии «Классики и современники». Из серии «Иностранная литература» не меньше. Но

больше всего, конечно, книг без серий, самых пёстрых обложек, форматов, размеров.

Я лёг на спину, растянулся во всю отведённую мне природой длину. Брал на ощупь книгу за книгой, открывал, разглядывал.

Очень много советской литературы от не самых видных, а то и вовсе неизвестных мне авторов.

Катаев... Помню, в школе проходили.

Расул Гамзатов. Интересно, помнят ли его где-то ещё, кроме Дагестана? Хотя «Журавли» – это песня навсегда.

Чингиз Айтматов. Слышал, что, не поработай советская редакция, был бы плоским и скучным. Но сделали. Советский продюсерский проект. Впрочем, может, это только слухи? Книжки же, как ни посмотри, реально сильные. Ни один редактор такой силы не накачает, если в тексте изначально её нет.

Леонов, Личутин, Асадов...

Козлов, Смирнов, Вишневский...

Иванов, Белов, Распутин...

Крапивин, Васильев, Орлов...

Я перебирал книги, укладывая их себе на грудь, живот или просто рядом с собой, и вскоре обнаружил себя наполовину погребённым под ними...

...Когда мы уходили, в библиотеке разгорался устроенный мною пожар. Мы уходили всё дальше от разрушающегося пансионата. Из окон библиотеки рвалось в небо пламя, и

вверх летели хлопья сожжённых книг. Прямо к луне и звёздам, словно сразу в рай.

Качались над нами высокие стволы сосен, плыл в небесах пепел советской литературы.

Тени от папоротника скользили по земле.

В броске ДРГ лишние граммы в твоём рюкзаке могут превратиться в приговор если не всей группе, то лично тебе.

Я нёс в рюкзаке захваченную из сгорающей библиотеки книжку «Белеет парус одинокий». Катаев. Одессит. Мы читали её в детстве на уроках литературы. В пятом классе мы ещё не знали, что нам предстоит.

В христианской традиции записочки, что пишутся для поминовения усопших, не выбрасываются на помойку, но сжигаются.

Это я поджёг библиотеку.

Смерть в огне – не смерть.

Тем более что у Бога нет мёртвых.

Пер-Лашез

Я оказался в Париже на четыре дня. Два дня конференции, посвящённой Гоголю, два дня докупил из собственных средств.

Город, если уж решил его узнать, надо узнавать ногами. Я бродил по двенадцать часов в сутки. Стёр ноги, и это не фигура речи, до кровавых мозолей. Домой возвращался с ощущениями, будто у меня в кроссовках смесь битого стекла и колючей проволоки. Однако ни о чём не жалел. Париж стоил моих страданий.

На Пер-Лашез многое странно. На десяток ухоженных склепов попадается один, пришедший в такое романтическое запустение, что мимо никак не пройти. За проржавевшими дверьми каменные обломки, сухие, думаю, не только прошлогодние, но и позапрошлогодние листья. Тлен, тёмный камень. Лавкрафт и всё, как мы любим.

Купил на входе схему кладбища. Искал, по большому счёту, двух человек. Джима Моррисона, поскольку уже лет двадцать к тому моменту был фанатом *Doors*, и Нестора Махно, потому что его фанатом был мой лучший друг.

На могиле Джима горели свечи, стояла бутылка вина, а в остальном всё выглядело как-то непримечательно. Слишком непримечательно для рок-звезды нескольких поколений. Никакого сравнения с могилой того же, допустим, Ос-

кара Уайльда. Зацелованной бесчисленными оттенками губной помады, со скульптурой, безумной фантазией ваятеля-демиурга, у которой, по легенде, неистовые гомосексуалисты отломали каменный член. Экспрессии этого памятника хватило бы на нескольких рок-звёзд.

Я не сразу понял, что у Махно нет могилы. Последним пристанищем Нестора Ивановича, анархо-коммуниста, несколько лет будоражившего весь юг и без того взбаламученной Гражданской войной России, стала ниша в колумбарии. Поднимаясь на второй ярус колумбария, я увидел надпись, от которой вздрогнул, не сразу поняв, что, или, вернее, кто передо мной. «Isadora Duncan. 1877–1927». Изадора, Айседора... Жена Есенина, который всегда был самым искренним поклонником Махно. История подчас вяжет удивительно красивые узелки.

На бронзовой плите, за которой укрыт прах Махно, полупрофиль анархо-коммуниста и годы жизни героя. Год рождения неверен. Он из официальных документов, а официальные документы Махно подделаны.

На литой бронзе скотчем приклеены увядшие тюльпаны – уродливые пестики почти без лепестков, и половина купюры в одну гривну. Чтобы знали, от кого цветы. Чтобы не перепутали.

Лепить деньги на могилу анархиста – может ли быть большее унижение?

Это был две тысячи девятый год. Не было ещё присоеди-

нения Крыма, не было войны. Было только уродливое самостийное желание заявить о своём существовании. О том, что Махно вешал самостийщиков, новые самостийщики, похоже, не подозревали.

Местечковые комплексы неполноценности легко перерастают в ненависть ко всему, чуть более значительному. Отколовшись, частица не стремится стать больше целого. Она мечтает уничтожить или присвоить целое.

Я сорвал вялые стебли с бронзового литья. Отнёс к ближайшей урне, куда и отправил вместе с обрывком нелепой купюры.

«Батяка бы туда ещё и плюнул», – подумал я.

На кладбищах всегда продают цветы. И я отправился на поиски. Путь мой пролегал мимо крематория Пер-Лашез. Две трубы заведения были черны и жирно лоснились в свете весеннего парижского солнца. Этот жир бросался в глаза и пугал. Хотя и, если честно, притягивал взгляд. Через вершины этих труб в парижские небеса улетело бог знает сколько человек. Одним из них был Нестор Иванович Махно. Поданный Российской империи, всю жизнь писавший и думавший на русском языке, на могилу которого теперь лепят аляповатые украинские флаги его враги.

История – причудливая наука, и её героям не позавидуешь. Мертвецов перетягивают то под одни флаги, то под другие. Мертвец в истории себе не принадлежит. Да и никому не принадлежит, по большому счёту. Мёртвый беззащитен,

как вода в проруби. Каждый может сделать его при желании своим врагом или союзником.

Я купил три гвоздики, ярко-красные, какие только и могли бы обрадовать революционера Махно, и прикрепил их к бронзовой плите колумбария.

Уходя, снова остановился у плиты Айседоры Дункан.

– Привет из России, – сказал я.

К её могиле никто не принёс ни цветов, ни купюр.

Солнце высоты

Питерская погода. Проклятая питерская погода. Нет, это не означает, что я живу в Питере. Я живу в городе N, где двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году питерская погода. Тучи, дождь, иногда снег, иногда просто какая-то гадость, неотличимая ни от дождя, ни от снега. Промежуточное состояние вещества.

Жена говорит, что вся погода у меня в голове, и солнечных дней у нас не меньше, чем в каком-нибудь V или W. Не знаю, возможно, она права. В конце концов, из нас двоих именно я шизоид, а не она. И в моей шизоидной голове круглый год питерская погода с плотными, как мокрая вата, низкими облаками, с ветром, который по ощущениям уже и есть чей-то нездоровый кашель, с последними облетающими листьями, первым падающим снегом. Вечный ноябрь в вечно ненастном городе.

Я ругаю всегда и всех. Я вечно насуплен, простужен, брызжу ядом, и куда меня ни тронь, всюду шипы и острые углы. Да ещё и Скорпион по гороскопу. А мы, Скорпионы, те ещё мерзавцы, можете мне поверить. Всё-таки я уже шестьдесят лет как Скорпион.

Ах, это небо города N! Не устану ненавидеть его. Оно мой враг, оно источник всех моих болезней и радостей. Почему радостей? Погодите, всё объяснится в свой черёд.

Я хожу под ним, будто с обезьяной на плечах, огромной отвратительной обезьяной, погружённой в депрессию. Огромной, вроде гориллы или орангутана, погружённой в самую чёрную жесточайшую депрессию.

И эта обезьянья депрессия, конечно же, сообщается и мне. Как вам тандем? Обычно тандем предполагает, что двое работают сообща, чтобы быстрее двигаться вперёд. Но мы, объединяя наши усилия, добиваемся лишь покорения новых отрицательных вершин. Будто торопимся закопаться под землю.

Я не хочу под землю. Нет, шестьдесят – неплохой возраст, чтобы начать поглядывать с симпатией на то, что лежит под твоими ногами, но нет. Мне есть ради чего жить. Доступны и мне некие тонкие радости.

В шесть лет меня отдали в музыкальную школу, в семнадцать я, как лауреат всех мыслимых конкурсов, был зачислен в консерваторию. Несмотря на скачки настроения, отвратительный характер и вечный избыток яда под языком, смог отучиться. Выпустился, получил диплом. А дальше пошла череда скачков из одной концертной организации в другую, из филармонии в филармонию, пока я окончательно не рассорился со всеми, с кем только можно было.

К тому времени я уже был женат, и сын успел стать подростком. Моя жена – ангел, она не просто терпела меня, она продала квартиру в Москве на Тверском бульваре, и мы переехали в провинцию, в N. На вырученные деньги мы смог-

ли купить в N сразу три квартиры. В одной жили сами, две другие сдавали. Это позволило мне не работать, а сидеть дома и заниматься чистым творчеством. В основном, я пишу для себя, но бывают халтурки – песни для местных и даже столичных певичек, музыкальные темы для сериалов и даже один раз для детского утренника. Местный князёк захотел для утренника в детском саду, где обитало его чадушко, абсолютно уникальное музыкальное сопровождение от столичного композитора. Я сделал, мне не сложно. Противно, но не сложно.

Отвратительно, гадость, ненавижу. Чтоб вас черти съели, чтоб от вас крест на кладбище сбежал, чтоб на ваши могилы псы блевать приходили.

Ещё это небо. Нависает, капля за каплей падает на темечко. Китайская пытка. Злое небо. Комья грязи, а не небо. Пузо лавочника, а не небо. Закат Европы, проклятие Азии и смерть всего живого. Таким небом пугать надо, наказывать им надо, а не жить под ним.

Впрочем, иногда я вспоминаю, что это небо есть только в моей голове, и меня, пусть ненадолго, отпускает.

Так вот, о тонких удовольствиях.

Ночь. Тишина. Жена и сын спят. Они долго не ложатся спать, особенно сын. Но всё же укладывается и он. Для меня это важно – знать, что я здесь один. Спящий – не вполне человек, он не мешает. Не думает, не производит иного шума.

У меня великолепный синтезатор. Едва ли не лучший, ка-

кой можно купить за деньги. Мы могли бы купить четыре квартиры, но купили три и этот синтезатор. Полная имитация клавиш рояля в плане звукоизвлечения, в плане диапазона – полная рояльная. Не синтезатор – чудо. Играешь и подчас забываешь, что это не настоящий рояль. Плюс у меня великолепные наушники. Такие только в «Эппл-рекордс» на Эбби-роуд и ещё нескольких лучших студиях мира.

Мне нельзя пить. Врачи запретили, да и сам знаю. Но раз в неделю сын украдкой приносит мне ноль-пять «Джека» и оставляет за синтезатором, вдали от бдительного ока жены. Почему виски? Метод проб и ошибок привёл меня именно сюда.

Итак, дом «затих. Я вышел на подмостки»... Нет, я сел к роялю. Достал «Джека». Первый глоток, второй, третий. Начинаю играть. Иногда что-то своё, иногда «Бранденбургские концерты» Баха, иногда «Ромео и Джульетту» Прокофьева. И Чайковский. Я обожаю Чайковского. Лучший мелодист всех времён и народов. Мелодия – душа музыки, Чайковский – одна сплошная душа. Я играю и в какой-то момент чувствую, как отрываюсь от земли. Земляная тяжесть отпускает меня, комья глины опадают с ног, клочьями мокрой бумаги падает одежда. И я поднимаюсь, поднимаюсь, теряю вес, грамм за граммом, медленно, но неотвратимо. И вот я уже не я, а клочок пара. Я покидаю квартиру, дом, улицу, город и упираюсь в вязкое, будто смола, небо города N. Я упираюсь, вклиниваюсь, я смел, я дерзок, я яростен. Я раздвигаю

головой, плечами эти напластования туч, я прорываюсь. Порой не хватает воздуха, но я уверен в себе, я знаю, скоро всё кончится. Сопротивление усиливается, тяжесть растёт, кажется, сейчас эта масса задушит и раздавит меня, но внешне всё кончается. Сопротивление исчезает, и я оказываюсь с той стороны облаков.

Здесь вечное солнце, здесь столько воздуха. Кислород высоты! Я пью его, дышу им. Я вырываюсь из туч и падаю в чистоту кислорода, солнечного света и невесомости. Ничего вокруг, только солнце и я. Я разговариваю с солнцем, как шаман, как древний жрец с богом. Нет преград, нет препятствий. Только чистая радость, чистое счастье. И я кувыркаюсь в них, делаю самые немыслимые кульбиты. Я живу, я весь солнце и музыка...

Утром ритуальный скандал. Но он потому и ритуальный, что несерьёзный. Жена трясёт перед сыном бутылкой «Джека», он вяло пожимает плечами и зевает.

– Ему нельзя пить! – говорит она одни и те же положенные слова. – Совсем нельзя пить.

Садимся завтракать. Завтрак проходит прекрасно. Несмотря на похмелье, я всё ещё полон солнцем, в свете которого оказался, прорвавшись за облака.

Мы о чём-то беседуем, много шутим и смеёмся. Я смотрю на мою семью, и моими глазами смотрит и греет их солнце высоты.

Светлячок

Да, я знаю, светлячки – не самые надёжные проводники. Но если ты имел отчаянность отправиться искать цветок папоротника в купальскую ночь, то лучшего проводника, чем светлячок, тебе не найти.

Мне пять лет. Я только что прослушал радиопостановку по гоголевскому «Вечеру накануне Ивана Купалы». Я только что узнал о купальской ночи и цветках папоротника.

Дети интересны тем, что не знают о границах, о том, что возможно и что нет. Мне пять лет, я уверен, что я центр этого мира, и, если я решил, что сегодня ночь на Ивана Купалу, значит, так оно и есть.

Я живу у бабушки в деревне. Не всегда, только сейчас, пока у мамы отпуск. С нашего крыльца видна роща. Но то, что для взрослых роща, для меня дремучий лес, полный русалок, леших, кладов и цветов папоротника.

Я встал с укладки, посмотрел в темноту за окном. Август, темнеет рано. Мама и бабушка смотрят телевизор. Я натягиваю сандалии и выхожу из избы. Осторожно прикрываю входную дверь, чтобы не звякнула щеколда. Я мал, но понимаю, говорить взрослым, что я собираюсь идти в дремучий лес за цветком папоротника, совершенно не обязательно.

Тут ночь. В темноте смутно виден погреб, провода, на которых днём любят сидеть стрижи и ласточки. Виден совсем

неясно пустующий двухэтажный двухподъездный дом белого кирпича. Видна дорога, густо заросшая по обочинам бурьяном, виден ряд акаций вдоль дороги. Дальше только темнота.

Я помню, в какой стороне находится дремучий лес. Делаю шаг, другой, схожу со ступеней и, чуть помедлив, отпускаю деревянный поручень. Всё, я один, я не дома, и я в пути.

Мимо пролетел светлячок, похожий на ожившую звезду. Звёзд, кстати, много. В августе их здесь особенно, невероятно много. Поднимешь голову, и чувство, будто над тобой перевернули мешок со светящимся сахаром.

Я иду за светляком по высокой, в мой рост, траве, спускаюсь в канавы, выкарабкиваюсь и иду снова.

Я отчего-то уверен, что светлячок приведёт меня прямо к цветущему папоротнику. Мне пять лет, и, если я что-то решил, значит, так оно и есть.

Мы достигаем дремучего леса. Он стоит передо мной чёрный, будто сделан из угля, которым бабушка топит печку. Он огромен, вершины его теряются меж светящегося сахара звёзд.

Но отступать нельзя и поздно. Светлячок бесстрашно устремляется прямо в темноту, в сплетение веток, стволов и трав. Прямо в угольно-чёрный хаос. Я иду за ним. Я знаю, светлячок не бросит и не предаст.

Лесная темнота густа, как сметана, и холодна, как молоко из погреба. Ветки под моими ногами трещат громко, буд-

то ломается что-то невероятно большое. Ветки цепляются за мои волосы, тонкие и лёгкие, как пух. Паутина липнет к щекам. Иногда вместе с пауками, и я с отвращением снимаю их рукой. Удивительно, как светлячок не попадает в эти сети. Похоже, я выбрал себе хорошего проводника.

Осока жёсткая, будто наждачная бумага. Коленкам и голеням больно, но я знаю, что боль и трудности – непереносимые спутники на пути к сокровищам.

Ухнуло вдали. Кто это? Леший, колдун?

Птица заполошно заметалась над моей головой. Побившись о ветки и листья и уронив чешуйки коры мне на плечи, с криком исчезла в чаще.

Пролетел самолёт, и присутствие его в дремучем лесу показалось странным, инородным, даже чем-то неприятным.

– Улетай, улетай, – сказал я ему шёпотом.

Светлячок, раскачиваясь, будто напевая про себя какую-то мелодию и танцуя под неё, летел всё дальше, в самую чащу, в самое сердце дремучего леса.

Пискнула невдалеке мышь. Сломавшись под собственным весом, упала сухая веточка. Каркнул в чащобах ворон.

В сандалиии набились сухие листья, ветки, мелкий сор. Но я не хотел останавливаться, боясь упустить из вида светлячка.

Я иду, иду, делаю шаг за шагом, и вдруг нога моя не находит опоры, и я лечу вниз по покатому склону. Бам-бам-бам. Поворот, кувырок, кувырок. И вот я на дне. Это старый окоп.

Их тут много осталось с войны. Мама рассказывала мне о них, когда мы ходили за грибами. Она ходила в рощу, я – в дремучий лес, полный чудес и тайн. Окопы – одно из чудес. Я знаю, я смотрел фильмы. Здесь воевали наши бойцы во время Великой Отечественной. Чудо-люди, высокие, сильные, с орденами и медалями на груди. Великаны с огромным добрым сердцем.

Падение оглушает меня, но только на мгновение. Я встаю на ноги, помогая себе руками, выбираюсь из окопа, ищу глазами светлячка. Нахожу и устремляюсь снова следом за ним.

Замечаю, что в руке у меня гриб. Машинально схватил, когда выбирался из окопа. Окопы вообще грибные места, мама всегда советовала внимательно их осматривать.

Я продолжаю своё путешествие за светлячком.

Насмешливый и циничный читатель уверен, что путешествие кончилось ничем. Но он ошибается, наш насмешливый читатель. Светлячок привёл меня к цветку папоротника. Я же говорил, что умею выбирать проводников. Удача не удивила меня. Я знал, что я центр этого мира и всё будет так, как я захочу.

Светлячок подлетел и исчез в свете, который распространил вокруг себя цветок. Исчез, растворился, как и не было.

Не стану описывать, какой он, цветок папоротника. Чудо должно оставаться чудом, и оно выше любых описаний.

Когда я вернулся домой, мама и бабушка мельком взглянули на меня, отвлѣкшись от телевизора.

– Что-то ты долго.

Я снял сандалии, подошёл, и тут они увидели гигантский подосиновик с яркой даже в иссушающем свете телевизора шляпкой.

– Ма, ты смотри, что он нашёл! – восхитилась мама. – Тут же на целую кастрюлю супа хватит. Если не червивый.

Она отломил край у шляпки.

– Чистый! Ну всё, завтра с супом.

Когда я уже лежал в кровати и голова моя утопала в дремоте и бездонной бабушкиной подушке, мама поцеловала меня в щёку и спросила:

– Где ж ты такого красавца нашёл?

– В дремучем лесу, – ответил я, закрывая глаза.

Она подула мне в лицо, и очнулся я только на следующее утро.

Время

Я знаю, как движется время. Я видел. Я видел, как мир становится не таким, каким его знаешь. А это и есть время.

Моё детство – это три месяца в деревне и девять месяцев школы в промежутках. Девять ненужных месяцев. За девять месяцев может появиться новый человек. Но я чувствовал себя человеком только на протяжении тех трёх месяцев в году, что проводил в деревне, всё остальное время я, по-моему, спал.

Моё детство – это пруды с рыбалкой и купанием, это бабушкин чердак, где мы с братом, сёстрами и друзьями пропадали днями и ночами. Чердак – культовое место. Прогретый солнцем, крытый шифером и рубероидом, с балками и поперечинами, пробитыми толстыми, с детский мизинец, гвоздями. Выстланный сеном, он пах жарко и травно. У нас там был штаб. Мы хранили там наши непутёвые сокровища – рогатки, самострелы, гильзы от ружейных патронов, свечи, лампы, фонарь, ножи. Там мы читали книги, составляли планы и заговоры, мирились и враждовали. Там было сердце нашего деревенского бытия. Стол – четыре посылочных ящика под квадратным окошком на треугольной стене, место нашей силы и мудрости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.